

Корней Чуковский. Онегин на чужбине

Что сказать об английских переводах «Евгения Онегина»? Читаешь их и с болью следишь, из страницы в страницу, как гениально лаконическую, непревзойденную по своей дивной музыкальности речь одного из величайших мастеров этой русской речи переводчики всевозможными способами превращают в дешевый набор гладких, пустопорожних, затасканных фраз.

Стоило Пушкину сказать о Татьяне:

Сквозь слез не видя ничего, -

как американская переводчица мисс Бэбетт Дейч (Deutsch) поспешила, так сказать, за спиной у Пушкина прибавить от себя описание Татьянинных глаз, о которых в оригинале ни слова:

И ослепленная слезами, которые блестели (!)
Неприметно (!) на ее больших (!) карих (!) глазах... (!)

Стоило Пушкину сказать об Онегине:

Расправил волоса рукой, -

как та же переводчица ни с того ни с сего описывает от имени Пушкина руку Онегина, о которой в оригинале опять-таки нет ни намека:

...узкой (!)
И белой (!) рукой он быстро (!) пригладил (!) волосы (!).

То и дело переводчица дарит Пушкину целые строки, которых он никогда не писал. Во второй главе, например, она заставляет Татьяну слушать по утрам несуществующих птиц, поющих на несуществующих деревьях. У Пушкина сказано кратко:

И вестник утра ветер веет,
И всходит постепенно день.

Возможно ли передать в переводе магию этого троекратного «ве» и четырехкратного «т», внушающих русскому читателю живое ощущение ветра? Сказав вслед за Пушкиным, что день находится в пути (on the march), переводчица ищет рифму к слову march (марч), и не находит никакой другой, кроме larch (ларч), а larch, как на зло, значит лиственница. Что делать? У Пушкина нет ни слова о лиственницах, которые, кстати сказать, и не растут в тех местах, где находится имение Лариных.

Переводчицу это нисколько не смущает. Она смело насаждает их там. А заодно и другие столь же неуместные деревья: буки. А раз появились деревья, нужно же как-то использовать их. Для переводчицы и это не составляет труда: пусть посаженные ею деревья служат приютом для птиц. Таким образом у нее получается:

И день на своем пути в скором времени
Разбудит птиц в буках и лиственницах.

Ларч и марч благополучно срифмованы. Но спрашивается: при чем же здесь Пушкин?

И это не случайность, а система. Скажет, например, Пушкин о Татьяне:

Она в горелки не играла, -

переводчица сочинит от себя дополнительно:

Татьяна оставалась дома,
Нисколько не удрученная своим одиночеством.

Если бы собрать со всех страниц те десятки и сотни эпитетов, мыслей, образов, которые изобретены переводчицей и предложены ею англо-американским читателям в качестве пушкинских, получилась бы книга изрядных размеров, которую можно было бы озаглавить «Фальшивки».

Больше всего удивительно то, что, переведя одну строфу «Евгения Онегина» (с помощью таких отсебятин) и заметив, что получается фальшь, переводчица не бросила этой работы, а как ни в чем не бывало принялась за вторую строфу, за десятую, сотую - и только тогда остановилась, когда прикончила таким манером весь роман. Какой большой, тяжелый и зловердный труд, весь направленный к уничтожению Пушкина.

* * *

И таких трудов было много.

Все эти переводы исполнены по такой же системе, как и упомянутый мною перевод Бэббет Дейч: берется текст Пушкина и так разбавляется в пресной воде отсебятины, что было бы странно, если бы англо-американский читатель, окунаемый в эту пресную воду, не счел бы Пушкина весьма посредственным и немощным автором, не идущим ни в какое сравнение с общепризнанными европейскими гениями.

Лучшим из всех этих переводов считается перевод Юджина Кейдена. И это мнение, пожалуй, справедливо. Юджин Кейден отнюдь не халтурщик: почтенный труженик, искренне преданный Пушкину.

Как говорит он в своем предисловии, он работал над «Евгением Онегиным» около двадцати лет - чуть ли не втрое больше, чем работал над этой книгой сам Пушкин.

Благородный упорный труд, требующий героического самоотвержения, сосредоточенных, непрерывных усилий.

А результат?

Все тот же: бесконечная отдаленность от Пушкина.

Чтобы облегчить свою задачу, переводчик из четырнадцати стихов онегинской строфы восемь оставил совсем без рифм, из-за чего вместо упругих и прочных конструкций получилась бесформенная словесная масса, жидкий словесный кисель. Уж лучше бы совсем без всяких рифм, сплошной прозаический текст. А теперь, когда кое-где появляются рифмы, бесформенность всего остального еще сильнее бросается в глаза.

Перевод встречен в американской печати сочувственно.

Так, профессор Эрнест Симмонс, авторитетный знаток русской литературы, утверждает в хвалебной рецензии, что мистер Юджин Кейден гораздо менее перегружает свою версию «Евгения Онегина» пустыми словами, истертыми фразами, чем прочие переводчики того же романа. Особенно удачным кажутся профессору Симмонсу рифмованные переводы концовок, замыкающих каждую строфу оригинального текста¹.

Верно ли это? Не думаю. Иные из этих концовок действительно сработаны переводчиком очень умело. Но знаменитые строки из пятой главы:

Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно, -

переведены мистером Кейденом так:

...Все окоченело (!) от холода
Бездельник может (!) видеть (!) у окна свою мать,
Которая предостерегающе бранит (!) его.

Нет ни «замороженного пальчика», ни смеха в сочетании с болью - ни одной из тех черт, которые дороги каждому русскому в этой мгновенной зарисовке с натуры.

Дальше. В подлиннике:

Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней!

А в переводе ни Гименея, ни роз:

Сказать правду,
Такова наша жизнь была бы на много лет,
И к чему она приведет - вас и меня?

В подлиннике:

Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

В переводе:

Станет ли такая жизнь (полная) грусти (?) и ненависти (!)
Нашей неизбежной (?) судьбой?

У Пушкина нет ни грусти, ни ненависти, и конечно, нет «неизбежной судьбы» (inevitable fate), потому что он не был бы Пушкиным, если бы вводил в свою речь такие никчемные, лишённые всякого смысла эпитеты: ведь судьба и значит неизбежность.

Конечно, за весь этот ворох пустых отсебятин очень легко порицать переводчиков. Но спрашивается:

что же им делать? Будь мистер Кейден и мисс Дейч величайшими гениями, им и то не удалось бы воспроизвести «Евгения Онегина» на своем языке во всей прелести его стиля и звукописи. Ибо всякий рифмованный стиховой перевод - даже самый лучший, даже самый талантливый - есть по своему существу целая цепь отклонений от подлинника. Иначе и быть не может: в каждом языке свои созвучья, свой синтаксический строй, своя эстетика, своя стилевая иерархия слов. Чего же требовать от мисс Бэббетт Дейч и от мистера Юджина Кейдена. Виноваты ли они, что они отнюдь не гении, а, судя по их переводам, ловкие версификаторы, умело владеющие стиховыми шаблонами?

* * *

Впрочем, представим себе на минуту, что они и вправду гениальны, отсебятин в их переводе оказалось бы меньше, стиль стал бы значительно ближе к пушкинскому, - но создать адекватную копию «Евгения Онегина» было бы и им не под силу. Здесь непреложные законы лингвистики: воссоздать рифмовку оригинального текста и в то же время дать его буквальный перевод «два действия, математически несовместимые», как выразился недавно один переводчик, о котором у нас речь впереди.

Поэтому перед каждым переводчиком «Евгения Онегина» он ставит такую дилемму: либо удовлетвориться точным воспроизведением сюжета и совершенно позабыть о художественной форме, либо создать имитацию формы и снабдить эту имитацию искаженными обрывками смысла, убеждая и себя и читателей, что такое искажение смысла во имя сладкозвучия рифм дает переводчику возможность наиболее верно передать «дух» подлинника...

II

Крошечный, микроскопически-мелкий вопрос: какой был цвет лица у Ольги Лариной, невесты Владимира Ленского? Пушкин отвечает на этот вопрос недвусмысленно: по контрасту со своей бледнолицей сестрой, Ольга отличалась «румяной свежестью» (гл. 2, XXV) и однажды, когда ей случилось слегка взволноваться, она, по словам поэта, стала -

Авроры северной алей,
(гл. 5, XXI)

то есть, говоря попросту, лицо у нее сделалось красным, ибо кто же не знает, какой пунцовой бывает зимняя заря над снегами.

Да и вообще Ольга была краснощекая. Все помнят насмешливо презрительный отзыв Евгения:

Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне

Американский переводчик романа мистер Юджин М. Кейден (Kayden) так и перевел те стихи, где говорится о наружности Ольги: *rosy* (румяная); ее лицо было «более алым, чем утренний свет» (*rosier than morning light*)².

В другом, более раннем американском переводе «Евгения Онегина» - мисс Доротеи Пралл Радин - лицо Ольги, в соответствии с подлинником, названо «круглым и красным» (*round and red*).

Так же передал эти эпитеты другой переводчик, Оливер Элто», в своей версии «Евгения Онегина»:

Лицо у нее круглое и красное.

Поэтому с таким изумлением я встречаю в новом американском «Евгении Онегине» следующий перевод этих строк:

Она кругла (?!), у нее красивое (?!) лицо,
Подобное этой глупой луне
На этом глупом небе³.

Почему красивое? Да потому, - поясняет переводчик (Вл. Набоков. - Ред.) в своих комментариях, - что в древней России (в XIV - XVI вв.) красный означало красивый. От тех времен осталось название Красная площадь. И в крестьянской речи и в фольклоре недаром говорится «красное солнышко», «красна девица», «красный угол» (II, 332 - 334).

Но ведь Онегин не крестьянин и не современник Ивана IV. В его лексиконе, как и в лексиконе всех современных ему культурных людей его круга, слово красный раньше всего означало цвет, а не форму: алый, малиновый, багровый, румяный. Именно так применительно к данному случаю толкует это слово авторитетный четырехтомный «Словарь языка Пушкина», изданный Академией наук СССР (том II, М. , 1957, с. 395).

Не было и нет, я уверен, ни одного русского человека ни в XIX, ни в XX веке, который понял бы онегинское слово красна в том смысле, в каком понял его этот американский переводчик «Евгения Онегина».

Отстаивая свое мнение, он убеждает и себя и других, что Онегин не стал бы говорить такое обидное слово об Ольге влюбленному в Ольгу Ленскому. Между тем именно это слово лучше всего характеризует стремление озлобленного Онегина противопоставить выспренным иллюзиям молодого романтика свой «резкий охлажденный ум». Здесь дан очень рельефный пример едкой злости его «мрачных эпиграмм», о которых сообщает поэт в первых же строках, посвященных Онегину.

Все 137 лет существования романа русские люди из поколения в поколение понимали слова Онегина именно так. Красный в смысле красивый для нас архаическое, мертвое слово. Оно сохранилось в живом языке только в качестве неподвижного, застылого эпитета, издавна прикрепленного к ограниченному числу существительных: «красная горка», «красное крыльцо», «красный зверь». Вне этих и еще нескольких устойчивых формул такое словоупотребление, как явствует из романа, совершенно несвойственно Евгению Онегину: речь его лишена каких бы то ни было архаических примесей. Это простая, непринужденная речь образованного русского барича, совершенно чуждая стилизации на славянофильский манер.

Есть еще один довод, которым переводчик пытается защитить свою версию. Если бы, - говорит он, - Пушкин написал про Ольгу: «у нее красное лицо», - тогда, конечно, это значило бы, что она краснощекая. Но Пушкин написал: «красна лицом», а эта форма якобы никогда не применяется русскими по отношению к цвету лица. Между тем стоит только вспомнить такую строку из незабвенного стихотворения Ал. Блока:

Что ты ликом бела словно плат, -

чтобы и этот лингвистический довод Набокова утратил всякую видимость истины. Ведь не сказал же поэт: «у тебя белый лик», он сказал: «ликом бела», и для русского уха это выражение имеет единственный смысл: «лицо у тебя белое, бледное»⁴.

Да и в психологическом плане невозможно представить себе, чтобы желчный Евгений, желая сказать злое слово о пошлой наружности Ольги, стал бы наряду с этим говорить комплименты ее красоте. Это противоречило бы замыслу Пушкина, наметившего здесь первый из тех эпизодов, которые должны были завершиться дуэлью. Стал бы Ленский обижаться на Онегина, если бы тот сказал, что Ольга красавица?

Но почему я так долго толкую о таком пустяке? Мало ли всевозможных - и притом более крупных - ошибок случается совершать переводчикам? В том-то и дело, что это совсем не пустяк. Читатель, я надеюсь, и сам убедится, если дочитает настоящую статью до конца, что это один из очень важных штрихов для характеристики той интересной книги, о которой я сейчас говорю.

* * *

К сожалению, ученый переводчик упорствует в своем заблуждении и каждого, кто не согласен с его пониманием этой выходки Евгения Онегина, именует безо всяких обиняков - идиотом.

Едва только ему стало известно, что «Словарь языка Пушкина» расходится с его толкованием, он заявил, что версия этого справочника «ни с чем не сравнима по своему тупоумию» («...a version that for sheer imbecility can hardly be matched». II, 333).

Достается и либретто оперы Чайковского «Евгений Онегин», где Ольгу тоже именуют румяной, причем комментатор употребляет такие эпитеты, как «сумасшедший» (lunatic), «безмозглый» (silly) (II, 333).

Вообще, если бы я не знал других произведений Набокова, я был бы поражен резкостью его суждений, их запальчивостью. Но так как я в свое время прочитал немало его книг, здесь не было для меня никакого сюрприза.

Казалось бы, писание примечаний к старинным классическим текстам - одно из самых мирных и безмятежных занятий. Вспомним примечания Я. К. Грота к Державину. Или примечания профессора С. М. Бонди к тому же «Евгению Онегину», увлекательные, но вполне благодушные.

А эти комментарии, которые я читаю сейчас, полны боевого азарта, полемичны, непримиримо воинственны.

С особенным гневом относится автор к другим переводчикам «Евгения Онегина». Он называет их «зловредными халтурщиками» (harmfull drudges, II, 325), а их переводы «чудовищными» (preposterous), «забавными» (ridiculous), «идиотскими» (idiotic), и даже «ужасными» (horrible) (II, 112, 526; III, 187). И вообще он считает большой катастрофой (disaster) совершаемое этими переводчиками - каждым по-своему - искажение великого подлинника. Во всех вышедших до настоящего времени переводах «Евгения Онегина» на французский, английский, немецкий язык он видит циническое глумление над Пушкиным (III, 184- 189). Неумоимо повторяет он снова и снова, что гениально лаконическую, непревзойденную по своей музыкальности речь одного из величайших мастеров языка переводчики всевозможными способами превращают в дешевый набор банальных затасканных фраз.

Так же беспощадно расправляется он почти со всеми комментаторами «Евгения Онегина». В 1953 году в издании Гарвардского университета (США) вышел комментарий к роману, составленный тамошним профессором Чижевским. Ни один ястреб не терзал свою жертву с такой кровожадной жестокостью, с какой Вл. Набоков терзает этого злополучного автора. О его работе он выражается

так: «неряшливая компиляция» (II, 80), «компиляция, не имеющая ни малейшей цены» (I, 60). И дальше на многих страницах: «Чижевский в пяти строках делает пять ошибок» (III, 61). «Комическая наивность Чижевского» (II, 221)...

Очевидно, Чижевский плоховатый работник. Он ссылается, например, на несуществующий роман Ричардсона, причем уверяет читателя, будто в этом романе выведен такой-то герой, который на самом-то деле является героем другого романа (II, 288, 348). Автором некоей пьесы он называет такого писателя, который этой пьесы никогда не писал (II, 80). Фамилию одного автора принял за название его книги и объявил, что книга вышла без фамилии автора (III, 110). Все это едва ли похвально.

Но никто не умел бы выразить свое возмущение с такой убийственно презрительной ненавистью.

Обвинитель не прощает Чижевскому ни малейшей оплошности. Тот, например, написал фамилию Мармонтель через два л (II, 517) и вместо Casimir - Kasimir. Даже за такие безделицы его постигает кара.

С такой же беспримерной свирепостью снова и снова клеймит комментатор другого своего предшественника, профессора Н. Л. Бродского. Из страницы в страницу читаем:

«Бродский сообщает неверную дату» (III, 113).

«Бродский забывает, что Татьяна...» (III, 160)

«Забавно, что Бродский...» (III, 320).

И общий приговор: «нелепая чушь» (III, 67).

К иллюстраторам Пушкина грозный ученый относится с тем же неистовым гневом. Не стану повторять, что говорит он о связанных с Пушкиным произведениях Репина (действительно слабых) (111,42), приведу его отзыв о художнике Нотбеке, напечатавшем в 1829 году шесть неумелых гравюрок, иллюстрирующих «Евгения Онегина»: «жалкий, бездарный художник» (miserably bad artist), рисунки которого типичны для «обитателей сумасшедшего дома» (II, 177- 179).

Поэтому я нисколько не удивлюсь, если Владимир Набоков, прочтя эти скромные мои возражения против одной-единственной ошибки его перевода, назовет меня кретином и олухом.

* * *

Первый стихотворный перевод «Евгения Онегина» на английский язык был напечатан в Лондоне в 1881 году. Переводчиком был Генри Сполдинг (Spalding).

В 1904 году, там же, вышел второй перевод, исполненный Клайвом Филлиппсом Уолли.

Англо-американский читатель не проявлял тогда большого интереса к русской поэзии, к русской культуре. Переводы очутились как бы в безвоздушном пространстве и общественного резонанса почти не имели.

Но прошло полвека - и русское искусство, русская литература очутились в центре внимания англо-американских читательских масс, и стихотворные переводы «Евгения Онегина» стали появляться все чаще и чаще.

В 1936 году в Нью-Йорке вышел перевод (в составе пушкинского трехтомника), исполненный Бэббет Дейч (Deutsch).

В 1937 году в том же Нью-Йорке «Евгений Онегин» вышел в переводе Оливера Элтона (Elton).

Тогда же в Калифорнии в городе Беркли роман Пушкина вышел в переводе Доротеи Пралл Радин и Джорджа Патрика (Dorothea Prall Radin and George Patrick).

В 1963 году в Нью-Йорке перевод «Евгения Онегина» вышел опять-таки в популярном издании. Переводчик Уолтер Арндт (Arndt).

В 1964 году в Америке вышло два «Евгения Онегина». Один в переводе Владимира Набокова (Нью-Йорк). Другой - в переводе Юджина М. Кейдена (Kauden), штат Огайо.

В 1965 году вышел массовым тиражом (в издательстве «Пингвин») заново переработанный, сильно обновленный перевод Бэббетт Дейч.

Как ни отнестись к качеству этих переводов, нужно сказать, что каждый из них - результат многолетнего, большого труда. В два-три месяца «Евгения Онегина» стихами не переведешь: в нем 5540 рифмованных строк. Юджин Кейден сообщает в своем предисловии, что он работал над «Онегиным» двадцать лет. А Набоков, как явствует из его предисловия, изучал эту книгу с юности, иначе говоря - лет сорок пять или больше, а над комментариями к ней начал работать еще в тридцатых годах. И замечательно: англо-американская критика (не то, что в былые годы!) встречает каждого нового «Онегина» несметным количеством статей и рецензий, обсуждая азартно и шумно его верность великому подлиннику. Особенно посчастливилось переводу Набокова: не было, кажется, ни в Англии, ни в США, ни в Канаде такого литературного органа, который не посвятил бы ему хоть несколько строк. Мне, русскому, весело видеть, как близко принимают к сердцу заморские и заокеанские люди творение гениального моего соотечественника.

Одним из первых откликов на появление нового - набоковского «Евгения Онегина» была статья профессора Эрнеста Симмонса, автора лучшей зарубежной биографии Пушкина. Статья была озаглавлена «Путеводитель Набокова по пушкинской вселенной» - и напечатана в литературном приложении к «Нью-Йорк тайме» (от 28 июня 1964 года).

С тех пор дискуссии о набоковском «Евгении Онегине» не сходят с газетно-журнальных страниц. Очень интересна статья Сиднея Монаса «Где же ты, Пушкин?» в журнале «Хадсон ревью» («Hudson Review»).

Вскоре в «Нью-йоркском книжном обозрении» сказал свое веское слово о книге самый влиятельный критик Америки Эдмунд Уилсон («The New York Review of Books» - 15 июля 1965 г.). Статья вызвала большую сенсацию и, конечно, не осталась без отповеди: в одном из позднейших номеров «Книжного обозрения» (от 26 августа) Вл. Набоков ответил маститому критику в своем обычном высокомерно-язвительном тоне. Эдмунд Уилсон тут же ответил Набокову, после чего журнал предоставил трибуну читателям, которые стали высказывать о работе Набокова самые разнообразные, но одинаково пылкие мнения. Заспорили о том, как произносится русское ё, что значит по-русски «нету», и как перевести слово «тянуться» в знаменитых строках:

Гусей крикливых караван
Тянулся к югу...

В споре приняли участие и профессор Эрнест Симмонс, и переводчик Давид Магаршак, и многие другие. И, конечно, мы, русские, не можем не порадоваться тому обстоятельству, что Пушкин, гениальность которого была до недавнего времени скрыта от «гордого иноплеменного взора», наконец-то стал для зарубежных читателей непререкаемым классиком, которого они жаждут возможно доскональнее узнать и понять.

Радует и то, что наш язык, его формы, прихоти, оттенки и тонкости широко обсуждаются там, где еще так недавно им интересовались лишь очень немногие.

Набоков не ограничился переводом «Евгения Онегина». Он снабдил свой перевод кропотливо составленным научным комментарием чуть не к каждой строке романа. Этот комментарий занимает в его работе наиболее видное место: два тома - свыше 1100 (тысячи ста!) страниц!

В своих комментариях Набоков обнаружил и благоговейное преклонение перед гением Пушкина, и большую эрудицию по всем разнообразным вопросам, связанным с «Евгением Онегиным».

Иным эта эрудиция покажется даже чрезмерной. Найдутся, пожалуй, читатели, которые скажут, что им предлагается больше, чем им хотелось бы знать. «Конечно, скажут они, это не так уж плохо, что по поводу пушкинского слова педант нам сообщает, как понимали это слово 1) Монтень, 2) Шекспир, 3) Матюрэн Ренье, 4) Мальбранш, 5) Аддисон, 6) Хэзлит, 7) Шенстон, - но что нам делать с теми несметными сведениями, которые нам предлагаются в этой книге по поводу онегинской хандры? Прочитав в первой главе об Онегине, что

...русская хандра
Им овладела понемногу, -

исследователь загромождает свою книгу десятками ссылок на десятки таких сочинений, где тоже говорится о хандре. Эти сочинения следующие:

1. «Орлеанская дева» Вольтера (1755).
2. Его же «Гражданская война в Женеве» (1767).
3. Стихотворение Альфреда де Мюссе.
4. Статья Джеймса Босуэлла в «The London Magazine» (1777).
5. Другая статья Джеймса Босуэлла в том же журнале (1778).
6. Басня Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину».
7. «Лицей» Лагарпа (1799).
8. Строка из Парни.
9. Отрывки из письма Шарля Нодье (1799).
10. Цитата из дневника Стендаля (1801).

11. Цитата из «Рене» Шатобриана (1802).
12. Цитата из «Обермана» Сенанкура (1804).
13. Цитата из «Валери» баронессы Крюднер (1803).
14. Цитата из «Героя нашего времени».
15. Цитата из Сент-Бева.
16. Снова цитата из Шатобриана.
17. Цитата из «Дон Жуана» Байрона.
18. Цитата из Марии Эджворт (1809).
19. Цитата из статьи Фонсенгрива во французской «Большой энциклопедии» (ок. 1885) (II, 151 - 156).

И такая щедрость на каждой странице. Пушкин говорит о Владимире Ленском, что тот

Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм...

Что за северные поэмы? По этому поводу нам опять предлагаются десятки разнообразных цитат: тут и мадам де Сталь, и Клопшток, и Бюргер, и Шиллер, и Гете, и Макферсон, и Жуковский, и Кембел (II, 253-255).

Конечно, если бы дело не шло о гениальной поэме, в которой мне с самого детства дорого каждое слово, я тоже, пожалуй, попенял бы исследователю за его чрезмерную дотошность и въедливость. Но я, как и всякий, кто любит поэзию, отношусь с такой ненасытной жадностью ко всему, имеющему хотя бы отдаленную связь с этим неисчерпаемым творением Пушкина, что никакие разговоры о нем не могут показаться мне лишними.

Вот, например, у Пушкина сказано, что Онегин, живя в Петербурге, зимовал в своих покоях, как сурок. Комментатор сообщает по этому случаю, какие породы сурков водятся на востоке и на западе США и как эти зверьки называются в Англии, во Франции, в Польше (III, 231-232). Я и об этом читаю с большим интересом, хотя, конечно, и двух слов было бы совершенно достаточно, чтобы объяснить, что такое сурок. Мне даже нравится, что наряду с зоологией здесь совершаются столь же продолжительные экскурсии в ботанику - по поводу брусничной воды, которую подавали у Лариных (II, 324-326), и этнографию - по поводу «горелок», в которые не играла Татьяна (II, 283-285), и в старинную французскую поэзию - по поводу «et cetera» (и прочее), которым обмолвился Евгений Онегин в шутовском разговоре с Владимиром Ленским (II, 322-323).

Кто же может возражать против такого изобилия сведений, раз они относятся к «Евгению Онегину»? А если в этом изобилии сказывается желание ученого автора щегольнуть своей сверхначитанностью, сверхэрудицией, такое желание вполне извинительно, и мы едва ли вправе глумиться над ним.

Но есть в сверхэрудиции Набокова одна необъяснимая странность. Оказывается, он до того переполнен всевозможными цитатами, сведениями, его так и распирает от совершенно ненужных познаний, что зачастую они переливаются у него через край. И тогда он забывает о «Евгении

Онегине» и вводит в свою книгу материал, который ни к Пушкину, ни к «Евгению Онегину» не имеет никакого касательства. Дается комментарий, но о чем - неизвестно.

Этого еще никогда не бывало, чтобы, взявшись за составление пояснительных примечаний к тому или иному литературному памятнику, какой-нибудь ученый исследователь вдруг начисто забывал о предмете своих толкований и тут же заводил разговор на совершенно посторонние темы.

У Набокова это на каждом шагу.

Так, например, совершенно не связано с «Евгением Онегиным» сообщаемое комментатором сведение, что Чарльз Мэтьюрин, когда писал своего «Мельмота Скитальца», наклеивал себе на лоб облатку, чтобы никто из домашних в то время не заговаривал с ним (II, 353). Это сведение самоцельно, существует само по себе, ибо ни Евгений Онегин, ни Пушкин никаких облаток себе на лоб не наклеивали и нигде даже не упоминали о них.

И еще: разъясняя строку о детстве Евгения Онегина, где сказано, что француз-гувернер

Учил его всему шутя, -

комментатор ни к селу ни к городу сообщает читателям, что этот гувернер вряд ли похож на того педагога, который в XVIII веке обучал греческому языку Бенжамена-Анри Констана де Ребека, хотя никто никогда и не думал, что они похожи друг на друга, тем более что учитель Онегина никогда не обучал его греческому. Да и мало ли есть педагогов, непохожих на онегинского ментора.

И причем здесь Бенжамен-Анри Констан де Ребек, неизвестно.

Таково же сообщение о том, что какой-то герой одной заурядной (*mediocre*) книжонки, подобно Чаадаеву, успокоил свой мятущийся дух в лоне католической церкви (II, 46). Автор вводит это сообщение в свой комментарий к знаменитой строке «Мы все учились понемногу», хотя оно здесь совершенно не надобно, так как в этой строке нет ни слова ни о католических, ни о православных церквях.

И еще: процитировав, по поводу малинового берета Татьяны, Болеслава Маркевича, и В. Глинку, и Уиллетта Кеннингтона (Cunnington), а также «Московский телеграф» и один заграничный журнал, комментатор никак не может удержаться, чтобы не сообщить нам при этом о какой-то повестушке Фаддея Булгарина, переведенной в журнале на французский язык, хотя эта повестушка никак не связана ни с «Евгением Онегиным», ни с малиновым беретом Татьяны (III, 183).

Так же не связано с «Евгением Онегиным» сообщаемое комментатором сведение, что существовал некогда плоховатый французский поэт, написавший плохую строку, которая начинается так: «Ce bon ton dont...» («Се бон тон дон...», III, 189).

Строка, действительно, очень уродливая, но Пушкин здесь решительно ни при чем: в его строке подобной какофонии нет. Точно так же не имеет ни малейшего отношения к Пушкину сообщаемое комментатором сведение (впрочем, давно всем известное), что тютчевские знаменитые строки:

Ночь, хмурая, как зверь стокий,
Глядит из каждого куста, -

могли быть навеяны соответствующим двустистишем Гёте (II, 329). Так как в «Евгении Онегине» нет и

в помине этого «стоокого зверя» - сообщаемое сведение оказывается тоже излишним.

Ну что же? Если в этих посторонних сообщениях и сведениях ни в малой степени не раскрывается Пушкин, зато здесь раскрывается Набоков.

Потому-то, читая иные страницы его комментариев, думаешь не столько о Пушкине, сколько о нем, о Набокове. Ибо, комментируя Пушкина, он в то же время стремится прокомментировать себя самого. И это ему вполне удается: недаром почти во всех зарубежных рецензиях о его интерпретации «Евгения Онегина» гораздо больше говорится о нем, о Набокове, чем об авторе, которого он комментирует.

Такой эффект достигается многими способами и раньше всего, как мы видели, безапелляционно-резкими суждениями о людях и книгах, к которым большинство окружающих привыкли относиться с пиететом. Еретик, выступающий против общепринятых мнений, всегда привлекает сочувственное внимание к себе, к своей личности. В подтексте у Набокова можно нередко расслышать: «вот вы полагали, что такие-то люди (писатели, художники, ученые) достойны вашей любви и признательности, но я, Athanasius contra mundum⁵, думаю о них не то, что вы». Другой на его месте, например, написал бы, не вдаваясь ни в какие оценки: «такое-то стихотворение Вяземского создавалось под влиянием Пьера-Жана Беранже». И поставил бы точку. Но Набоков не склонен к такому безличному стилю. «Петр Вяземский, - пишет он, - второстепенный поэт, к великому несчастью (disastrously) находился под влиянием французского стихоплета Пьера-Жана Беранже» (II, 27). На дальнейших страницах Набоков называет Беранже «жалкой посредственностью» (II, 34), автором «тривиальных», то есть шаблонных стихов (III, 321).

Не стану повторять, что говорит он о Виссарионе Белинском, но вот несколько других его отзывов. Стихи Вольтера все до единого «отвратительно прозаичны и скучны» (II, 147), Сергей Аксаков - третьеразрядный (very minor) писатель, ужасно раздутый (tremendously puffed) в славянофильских кругах. Достоевский - «варварски грубый (gothic), сентиментальный, слишком превознесенный писатель» (III, 191).

Чуть не на каждой странице заявляет комментатор «Онегина» о своих собственных пристрастиях, вкусах, оценках - и тем самым ни на миг не оставляет читателя наедине с Пушкиным, с «Евгением Онегиным». Импозантная фигура комментатора маячит перед нашими глазами беспрестанно на всем пространстве его объемистой книги.

Именно потому, что он чувствует себя центральным персонажем своих «Комментариев», он позволяет себе, как уже было сказано, не раз и не два забывать о том произведении, которое он взялся комментировать, и предлагает читателю разные посторонние (порою курьезные) сведения (вроде облатки на лбу Мэтьюрина).

Этим совершенно разрушается наше привычное представление о стиле и жанре примечаний к классическим текстам. До сих пор составители их - скромные труженики - скрывались всегда за кулисами: Тихонравов и Шенрок, комментируя Гоголя; Модзалевский, Томашевский, Лернер, комментируя Пушкина; Гудзий, комментируя Толстого; Макашин, комментируя Салтыкова-Щедрина, - все предпочитали служить читателю незаметными спутниками, помогающими ему разобраться в классических текстах.

Эта роль нисколько не соблазняет Набокова. Он видит в комментариях такое же средство самоутверждения, самораскрытия, какое видит каждый поэт в своей лирике. Он не прячется за кулисами, он шумно выходит на сцену, на которой до сих пор единственным солистом был Пушкин,

и хоть не всегда заслоняет его, но все же выступает рядом с ним, демонстрируя перед нами свои собственные причуды и вкусы, свою патрицианскую брезгливость к тем литературным явлениям, в которых ему чудится вульгарность и фальшь.

Если же кто сомневается, что в своих комментариях к Пушкину Набоков видит комментарии к себе самому, что для него это род автобиографии, литературного автопортрета, я могу сослаться на те строки, где он по поводу Летнего сада, куда водил Евгения Онегина его гувернер, сообщает читателям, что в детстве и он, как Евгений Онегин, проживал в Петербурге, что и у него, как у Евгения Онегина, был гувернер, который и его, как Евгения Онегина, водил в Летний сад на прогулку (II, 41). А заговорив об адмирале Шишкове, он не забывает сказать:

«Адмирал Александр Семенович Шишков... президент Академии наук и двоюродный брат моей прабабушки» (III, 169).

Если бы какой-нибудь другой комментатор поэзии Пушкина в своем научном примечании к «Евгению Онегину» позволил себе сообщить, какая была у него, у комментатора, бабушка, это вплетение своей собственной биографии в биографию Пушкина показалось бы чудовищной литературной бестактностью. Но для Набокова, который видит в комментариях к «Евгению Онегину» одно из средств самовыражения, самораскрытия, и стремится запечатлеть в них свое «я», свою личность с той же отчетливостью, с какой он запечатлевает ее в своих стихах и романах, совершенно естественно рассказывать здесь, на страницах, посвященных «Онегину», что у него, у Набокова, была бабушка, баронесса фон Корф, и дядюшка Василий Рукавишников, после смерти которого он, Набоков, получил в наследство имение Рождествино, что имение это примыкает к другим, тоже очень живописным имениям, принадлежавшим его родителям и близкой родне.

В одном из этих имений, под названием Батово, юный Набоков, как опять-таки сообщает он сам, - в шутку дрался на дуэли с одним из своих кузенов (II, 433).

У другого исследователя классических текстов такое «ячество» могло бы показаться кощунством. Но у Набокова это так естественно, так органично, так соответствует его репутации, так связано со всем его писательским обликом, что я удивился бы, если бы его комментарии к «Евгению Онегину» были написаны в том бесстрастном, строго академическом стиле, к какому с давнего времени нас приучила наша славная когорта пушкинистов: Леонид Майков, Щеголев, Лернер, Модзалевский, Цявловский, Цявловская, Тынянов, Оксман, Томашевский, Бонди.

Набокову этот академический стиль не указ. Каждым своим жестом он как бы внушает читателю:

- Пусть в своих комментариях к Пушкину писатели-плебеи, чернорабочие словесного цеха, считали своим писательским долгом писать только то, что прямо относится к делу, я же, литературный патриций, могу себе позволить по прихоти толковать о чем вздумается, не стесняя себя рамками определенной тематики.

Захочу - расскажу о том, как учили Бенжамена Констана, или о том, какие английские вирши сочинял поэт Иван Козлов, или о том, какая повестушка Булгарина была напечатана во французском журнале, а захочу - расскажу о себе и о своих замечательных предках.

* * *

Но не нужно шаржировать. Хотя Набоков и склонен порою заслонять великого поэта собственной

внушительной фигурой и втискивать в комментарии к «Евгению Онегину» неожиданные, непрошенные сведения о разных посторонних вещах, все же главный его интерес сосредоточен на Пушкине.

И вот спрашивается: что же нового внес он в наше пушкиноведение? Какими идеями, сведениями обогатил он наше представление о «Евгении Онегине»? Не может же быть, чтобы в таком обширном и кропотливом исследовании не было каких-нибудь новшеств, открытий, находок, которые отныне войдут в обиход современной науки о Пушкине.

Снова перелистываю эти ученые книги. И нахожу в них прелюбопытные факты. Оказывается, Пушкин, подыскивая в черновике 21 строфы второй песни подходящее отчество для одной деревенской старухи, колебался между тремя Ф: сначала он назвал эту старуху Филатьевна, потом - Филиппевна, потом - Фаддеевна (II, 273). Три Ф налицо.

И еще немаловажное сведение. Оказывается, эта Фаддеевна, нянчившая маленькую Ольгу и рассказывавшая ей сказку о Бове Королевиче, похожа на такую же няньку, которая в книге Марии Эджворт «Ennui» (1809) рассказывает ребенку сказку о Черной Бороде и короле О'Доногуэ. Хотя эта ирландская нянька не имела ничего общего с русской и хотя сказка о Черной Бороде ничем не похожа на сказку о Бове Королевиче, для комментатора здесь доказательство, что образ Фаддеевны взят Пушкиным не из реального русского быта, но - из зарубежной словесности.

И вот еще одна параллель, никем до сих пор не замеченная. Возможно, что знаменитое патриотическое восклицание Пушкина:

Москва, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось, -

внушено Пушкину аналогичным (!) восклицанием малоизвестного английского стихотворца Пирса Игена (Egan):

Лондон! ты всеобъемлющее слово...
(III, 113)

хотя Пушкину, чтобы прославить Москву, едва ли нужно было копировать лондонца.

Но в этом и заключается важнейшее открытие исследователя. Читая пушкинский роман, он обнаружил, что чуть ли не вся фразеология романа заимствована Пушкиным из чужестранных источников - главным образом из французских. Отыскание этих источников комментатор считает одной из своих главнейших задач.

Встретив, например, у Пушкина стих:

Его не видят, с ним ни слова, -

он спешит указать, что весь этот оборот заимствован поэтом у французов, которые так и говорят на своем языке: «On ne le voit pas, on ne lui parle pas» (III, 217).

И по поводу «тайнственной гондолы», упомянутой Пушкиным в «Евгении Онегине», Набоков точно так же указывает, что эта венецианская лодка всплыла в пушкинский текст прямо из поэмы Байрона «Беппо», с которой поэт познакомился по французскому переводу Амедея Пишо (II, 187).

Приведа два стиха из 21 строфы второй главы романа:

Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав, -

комментатор считает необходимым отметить, что вся эта фраза есть точная калька французской: *il fut le temoin attendri*, etc. (II, 270).

В той же строфе есть двустишие:

В глазах родителей, она
Цвела как ландыш потаенный, -

и, конечно, зоркий «параллелист» не преминул усмотреть галлицизм и здесь «в глазах» - «aux yeux» (II, 270).

Дальше мы узнаем, что пресловутую гондолу Пушкин мог заимствовать не только у француза Пишо, но и во французском романе «Валери» баронессы фон Крюднер (II, 185).

Что двустишие:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела, -

могло быть заимствовано у француза Поля-Дени Лебрена, а пожалуй, у англичанина Аллана Рамсая (II, 276).

Что знаменитые строки:

Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забывтый в хижине своей -

весьма близки к двум сонетам Пьера де Ронсара - из коих один написан в 1560 году, а другой - в 1578.

Что такие выражения в русском романе, как «ростбиф окровавленный», «огонь неожиданных эпиграмм», «юность мятежная», «любезный баловень природы», «одет, раздет и вновь одет» - и многие десятки других внушены русскому поэту французами (II, 16, 42, 49, 73, 98).

Если читать эти комментарии один за другим, получается такое впечатление, будто «Евгений Онегин» в значительной мере есть перевод с французского. Комментатор так твердо уверен в существовании французских и отчасти английских первоисточников «Евгения Онегина», что даже удивляется, когда обнаруживает, что Пушкин самостоятельно, так сказать, из своей головы, не подражая ни Вольтеру, ни Байрону, говорит о товарах, которые «Лондон щепетильный»

...по балтийским волнам
За лес и сало возит нам.

Правда, можно было бы предположить, что эти строки он позаимствовал из десятой песни байроновского «Дон Жуана», где в сорок пятой строфе тоже говорится о торговле русских с англичанами, но, увы, досконально известно, что десятая песня не могла в то время дойти до Пушкина ни в подлиннике, ни во французском переводе Пишо, так как эти пушкинские строки написаны до появления соответствующих строк в поэме Байрона (II, 98, 99).

И это не единственный случай, когда сходство иностранного текста и пушкинского объясняется простым совпадением.

У Пушкина есть две строки о крепостных кучерах, которые, поджидая господ, греются у костров на морозе:

И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони.

Комментируя эти строки, Набоков весьма огорчен, что они написаны в 1823 году и что таким образом никак не возможно сказать, будто Пушкин позаимствовал их у американского поэта Джеймса Рассела Лауэлла, который написал нечто подобное в 1868 году. Увы, комментатору приходится скрепя сердце признать, что Пушкин сочинил эти строки сам, без помощи чужеземных писателей. По словам Набокова, всякий «параллелист» был бы страшно обрадован, если бы Лауэлл родился, скажем, в 1770 году и написал бы свои стихи раньше Пушкина. Но Лауэлл родился в 1819 году и, значит, был крохотным мальчиком, когда Пушкин начал писать свой роман, так что при всем желании нашего параллелиста уличить Пушкина в хищении у Лауэлла ему пришлось отказаться от такого соблазна, ибо неопровержимые факты устанавливают несомненное *alibi* Пушкина (II, 96). Спрашивается, что нам за надобность узнавать такие английские тексты, какие появились значительно позже «Евгения Онегина» и никак не могли послужить материалом для Пушкина и в то же время не послужили материалом для Лауэлла? Эти случайные параллели Вл. Набоков любовно именует «очаровательными совпадениями», хотя, конечно, и сам сознает, что научная их ценность равна нулю, так как к «Евгению Онегину» они не имеют касательства.

Вообще здесь полный простор для произвола. Комментатор, например, говорит, что строки «Москва... как много в этом звуке...» могли быть внушены Пушкину английским писателем Игеном; почему не английским писателем Вильямом Дэнбаром, у которого тоже есть обращение к Лондону:

Лондон, ты цветок всех городов...

London! Thou are the flower of cities all...

Допустить же, что хоть одну строфу Пушкин сочинил своим умом, не заимствуя ни лексики, ни фразеологии в каком-нибудь чужеземном источнике, параллелист ни за что не согласен.

Особенно дороги ему новые и новые факты, доказывающие, что в «Евгении Онегине» нашла отражение французская речевая традиция, и Пушкин, создавая русскую национальную эпопею, строил множество своих словесных конструкций, копируя французские модели.

Ко всем этим указаниям я отнесся с большим интересом, но, конечно, мой интерес к открытию американского автора был бы гораздо сильнее, если бы я не читал о том же в книгах и диссертациях русских исследователей...⁶

1. "Russian in English Dress" by Ernest J. Simmons. - The New York Times Book Review от 24 января 1965 года.

2. Pushkin Alexander. Eugen Onegin. Translated from the Russian by Eugene M. Kayden. The Antioch Press, Ohio, 1964, pp.69,138.

3. Eugene Onegin. A Novel in Verse by Alexandr Pushkin. Translated from teh Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov in four volumes. Bollingen Seriex XXII, Pantheon Books, 1964, т.І. с.155. В дальнейшем ссылки на эту четырехтомную книгу переносятся в текст; римская цифра означает том, арабская - страницу.

4. Ср. в одном из черновиков к "Медному всаднику":

Лицом немного рябоватый, -

которое цитирует сам же Набоков в своем "Эпилоге переводчика" (III, 383).

5. Афанасий против всего мира (лат.) - Ред.

6. Автор не успел закончить эту статью. - Ред.